



Н. К. ШИЛЬДЕР

Император Александр Первый, его жизнь и царствование

<Фрагменты>

<...> Рассмотрим теперь, к каким политическим взглядам и убеждениям привели великого князя Александра воспитание и ненормальная семейная обстановка; в них кроется ответ на вопрос: могла ли императрица Екатерина рассчитывать если не на содействие, то по крайней мере на согласие внука принять, помимо отца, то бремя, которое она ему готовила. Для этой цели обратимся к нескольким историческим свидетельствам несомненной достоверности, ясность и определенность которых не оставляет желать ничего лучшего; все они относятся к 1796 году.

Первое из них — письмо великого князя Александра к Лагарпу от 21 февраля 1796 года следующего содержания: «Любезный друг! Пишу вам через особу, которая сама передаст письмо мое к вам. И так я могу писать к вам свободно. Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и обо всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе! Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания (*de me défaire de ma charge*). Оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека; это ужасно (*tout le monde pille, on ne rencontre presque pas d'honnête homme; c'est affreux*). Что до меня касается, я преобразился, встаю рано и работаю целое утро по известному вам плану. Это начинало идти очень хорошо, я становился очень усидчив к труду, но явилась помеха. Захотели, чтобы я делал утренние прогулки от 10 до 11 часов. Вот уже и перерыв, впрочем, я делаю что возможно; в настоящую минуту еще новая помеха — празднества по случаю бракосочетания второго сына наследника престола; но это скоро кончится, а тут и пост приближается. Уедут на дачу, и я примусь за чтение и работу более чем когда-либо. Я весьма доволен режимом, которого придерживаюсь, здоров как нельзя более и большею частью

времени весел, несмотря на мои огорчения. Я очень счастлив с женой и с невесткой. Но что касается до мужа сей последней, он меня часто огорчает; он горяч более чем когда либо, очень своеволен, и часто его прихоти не согласуются с разумом. Военное ремесло вскружило ему голову, и он иногда жестоко обращается с солдатами своей роты; он имеет в своем распоряжении роту, и вы видели ее начало. Я же, хотя и военный, жажду лишь мира и спокойствия и охотно уступлю свое звание за ферму подле вашей или по крайней мере в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил».

Обратимся теперь к другому письму великого князя Александра, написанному 10 мая 1796 года к Виктору Павловичу Кочубею, занимавшему тогда место чрезвычайного посланника и полномочного министра в Константинополе. К Кочубею великий князь питал, как он выражался, «*беспредельную дружбу*» (*amitié sans bornes*). В этом произведении пера Александра, в котором он «*поговорил откровенно о многом*», обрисовываются в самых ярких красках мировоззрение и душевное настроение внука Екатерины в последний год ее царствования. Оно дополняет собою вышеприведенное письмо Александра к Лагарпу, от 21 февраля, и с большею подробностью входит в обсуждение тех же основных мыслей.

«Да, милый друг, — пишет Александр, — повторю снова: мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих, в моих глазах, медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек¹, князь Барятинский², оба Салтыкова³, Мятлев⁴ и множество других, которых не стоит даже и называть, и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед тем, кого боятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом.

Вот, дорогой друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам; считаю излишним просить вас не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, что это нечто такое, за что я мог бы дорого поплатиться... Я обсудил этот вопрос со всех сторон. Надобно вам сказать, что первая мысль о нем родилась у меня еще прежде, чем я с вами познакомился, и что я не замедлил придти к решению, на котором остановился.

В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал вам выше. Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы.

Вы будете смеяться надо мною и скажете, что это намерение не сбыточное, — это в вашей власти, но подождите исполнения и уже тогда произнесите приговор. Знаю, что вы будете порицать меня, но не могу поступить иначе, потому что спокойную совесть ставлю первым для себя законом, а могла ли бы она оставаться спокойною, если бы я взялся за дело не по моим силам. Вот, любезный друг, что я так давно желал сообщить вам. Теперь, когда это высказано, мне только остается уверить вас, что, где бы я ни был, счастливым или несчастным, богатым или бедным, ваша дружба ко мне всегда будет одним из величайших утешений для меня; моя же к вам, верьте, кончится только с жизнью. Прощайте, мой дорогой и истинный друг; в ожидании же того, увидеть вас было бы для меня самым счастливым событием. Жена моя вам кланяется; ее мысли совершенно согласны с моими».

Теперь остается еще упомянуть об откровенных беседах 19-летнего Александра с князем Адамом Чарторижским весной 1796 года в саду Таврического дворца и в Царском Селе. Екатерина дозволила в 1795 году князьям Адаму и Константину Чарторижским приехать в Петербург. Они были приняты при дворе, и молодые великие князья познакомились с ними; с тех пор началось постепенное сближение между князем Адамом Чарторижским и великим князем Александром. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Ф. В. Ростопчина, который высказывает в своей переписке опасение, чтобы общество князя Чарторижского не повредило молодому великому князю.

Весной 1796 года Александр Павлович пригласил князя Адама посетить его в Таврическом дворце, и здесь, во время прогулки по саду, произошла достопамятная их беседа, продолжавшаяся без перерыва в продолжение трех часов. «Великий князь сказал мне, — пишет Чарторижский в своих записках, — что наше поведение, моего брата и мое, наша покорность судьбе, которая должна была быть тягостной

для нас, спокойствие и равнодушие, с коим мы все приняли, не придавая ничему цены и не отвергая милостей, для нас стеснительных, внушили ему к нам уважение и доверие; что он сочувствует нашим побуждениям, что он угадывает их и одобряет, что он ощутил потребность ознакомить нас с истинным своим образом мыслей, что он не может помириться с мыслью, чтобы мы имели о нем понятие, не согласное с действительностью. Он сказал мне затем, что он несколько не разделяет воззрений и правил Кабинета и Двора, что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее основные начала (*qu'il était loin d'approuver la politique et la conduite de sa grand'mère; qu'il condamnait ses principes*); что все его желанья были на стороне Польши и имели предметом успех ее славной борьбы; что он оплакивал ее падение; что Костюшко⁵ в его глазах был человеком великим по своим добродетелям и потому, что он защищал дело человечества и справедливости. — Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях, что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за французской революцией; что, осуждая ее ужасные крайности, он желает республике успехов и радуется им. Он с благоговением говорил мне о своем наставнике г. Лагарпе, как о человеке высокой добродетели, истинной мудрости, строгих правил, сильного характера. Ему он был обязан всем, что в нем есть хорошего, всем, что он знает; в особенности он обязан ему теми началами правды и справедливости, которые он имеет счастье носить в своем сердце, куда внедрил их г. Лагарп.

Проходясь вдоль и поперек по саду, мы несколько раз встречали великую княгиню, прогуливавшуюся отдельно. Великий князь сказал мне, что его супруга — поверенная всех его мыслей, что она одна знает и разделяет его чувства, но что, за исключением ее, я первое и единственное лицо, с которым, после отъезда его наставника, он решился говорить о них; что он не может поверить их решительно никому, ибо никто в России еще не способен разделять их или даже понять; что поэтому я должен чувствовать, как для него будет отраднее иметь человека, с которым он может говорить откровенно и с полным доверием.

Этот разговор был пересыпан, как легко себе представить, изливаниями дружбы с его стороны, с моей — выражениями удивления и благодарности и уверениями в преданности. Он отпустил меня, сказав, что постарается видаться со мной как можно чаще; впрочем, предписав мне крайнюю осторожность и безусловную тайну, позволил мне сообщить содержание нашего разговора брату.

Я расстался с ним, сознаюсь в том, вне себя, глубоко взволнованный, не зная, сон ли это или действительность. Как! Русский великий князь, наследник Екатерины, ее любимый внук и воспитанник, тот, кого она,

устранив сына, желала бы возвести после себя на престол, тот, о котором говорили, что в нем возродится Екатерина, — этот великий князь ненавидит основные начала своей бабки и отрекается от них и от ненавистой политики России! Он страстно любит справедливость и свободу, он жалеет Польшу и хотел бы видеть ее счастливою! — Не чудом ли в этой атмосфере, в этой обстановке могли развиваться столь благородные помыслы, столь высокие добродетели? — Я был молод, исполнен восторженных мыслей и чувств; необычайные вещи недолго удивляли меня; я охотно верил всему, что казалось мне величием и добродетелью. — Я легко поддался понятному очарованию. В словах и в поведении этого царственного юноши было столько чистосердечия, чистоты, столько решительности, по-видимому, несокрушимой, столько самозабвения и возвышенности душевной в словах и в обращении, что он показался мне существом, избранным свыше, ниспосланным Провидением для блага человечества и моей родины. Я возымел к нему безграничную привязанность, и чувство, внушенное им мне в эту первую минуту, пережило даже постепенное разрушение возбужденных им надежд; позже оно устояло против всех ударов, нанесенных ему самим же Александром, и никогда не погасло, несмотря на множество причин и на все печальные разочарования, которые могли бы разрушить его. Я сообщил моему брату о бывшем между нами разговоре, и, изливши друг перед другом наш восторг и наше удивление, мы вместе предались мечтам о светлом будущем, которое, казалось, раскрывалось перед нами».

С переездом двора в Царское Село свидания князя Адама с Александром происходили чаще и политические беседы продолжались с еще большею свободой во время прогулок. «Политические мнения, которые ныне показались бы избитыми, общими местами, были тогда животрепещущими новостями, — пишет Чарторижский, — и тайна, которую приходилось соблюдать, мысль, что это происходит перед глазами Двора, погрязшего в предрассудках абсолютизма, назло всем этим министрам, столь убежденным в своей непогрешимости, придавала еще более занимательности и соли этим сношениям, которые становились все более частыми и близкими. — Это было своего рода фран-масонство, коему не оставалась чуждою и великая княгиня. — Императрица Екатерина взглянула благосклонно на близость, возникшую между ее внуком и обоими нами; она одобрила это сближение, не угадывая, конечно, ни истинного его повода, ни последствий».

Вскоре, однако, проницательный князь Адам начал относиться критически к мечтательному либерализму Александра, который под обаянием едва начинавшейся молодости создавал себе образы, утешал себя ими, не затрудняясь препятствиями, и строил бесконечные планы для будущего. По свидетельству Чарторижского, мнения его

соответствовали взглядам воспитанника 89-го года, который желал бы всюду видеть республику и признает эту форму правления единственною сообразною с желаньями и правами человечества. Хотя собеседник Александра и сам принадлежал в это время к числу восторженных людей, хотя он родился и был воспитан в республике, с увлечением усвоившей себе все начала французской революции, но тем не менее он держал сторону благоразумия и умерял крайние мнения великого князя. Между прочим Александр утверждал, что наследственность престола — установление несправедливое и нелепое, что верховную власть должен даровать не случай рождения, а приговор всей нации, которая сумеет избрать способнейшего к управлению государством. Чарторижский упорно оспаривал эту политическую ересь, указывал на трудности и случайности избрания, припоминал все, что Польша претерпела от подобного порядка вещей, и как мало Россия способна и приготовлена к нему; наконец князь Адам присовокупил, что на этот раз по крайней мере Россия от этого ничего не выиграла бы, ибо она лишилась бы того, кто всех достойнее верховной власти, чьи намерения самые благодетельные и самые чистые.

Иной раз во время прогулок обоих друзей разговор от политики переходил к природе, красотами которой юный великий князь охотно восторгался. Сельские занятия, сельские труды, жизнь простая и тихая на хорошенькой ферме, в стране отдаленной и живописной, вот идиллия, которую он хотел осуществить и к мечтам о которой он постоянно со вздохом возвращался. Все эти беседы наводили князя Адама на размышления, что такие мечты или, как он их называет, «*divagations politiques*» («политические бредни») не были приличны для великого князя, что при столь высоком призвании и для того, чтобы произвести в общественном строе великие и счастливые перемены, необходимо обладать большей силой, большей верой в себя, чем имел их великий князь; что при занимаемом им положении он заслуживал порицания за то, что желал сбросить с себя громадное бремя, ему предназначенное, и вздыхал о досугах спокойной жизни; что сознавать трудности своего положения и страшиться их недостаточно, и что следует, напротив того, проникнуться пламенным желанием преодолеть их. Однако все эти размышления, которые приходили Чарторижскому на ум, несколько не уменьшали чувства восторга и преданности, с которыми он относился к своему царственному другу. «Его искренность, — замечает князь Адам в своих записках, — его прямота, увлечение, с которым он предавался прекрасным мечтам, имели неотразимую прелесть. Притом он был еще так молод, что мог приобрести то, чего ему не доставало; обстоятельства, необходимость могли развить способности, не имевшие ни времени, ни случая обнаружиться; но его воззрения, его

намерения оставались драгоценными, подобно чистому золоту, и хотя он впоследствии сильно изменился, однако до своей кончины сохранял некоторые склонности и мнения своей юности. — Я часто отстаивал перед его порицателями искренность и неподдельность его мнений. Впечатление, произведенное первыми годами нашего знакомства, не могло изгладиться. Нет сомнений, что, когда девятнадцатилетний Александр изливал мне, под величайшею тайною и с беззаветностью, облегчавшею его душу, мнения и чувства, скрываемые им от всех, он действительно испытывал эти чувства и потребность с кем-нибудь поделиться ими. Какое иное побуждение могло быть тогда у него? Кого хотел бы он обмануть? Он очевидно повиновался влечению своего сердца и доверял мне истинные свои мысли».

Итак, князь Чарторижский имел случай ознакомиться всесторонним образом с политическими убеждениями Александра, с его восторженным отношением к красотам природы и с его идиллическими мечтами о спокойной сельской жизни. Но от его наблюдательности не скрылся еще третий предмет увлечений Александра, который, однако, совершенно не подходил к прочим и даже прямо им противоречил. «Это был милитаризм во вкусе его отца великого князя Павла». Чарторижский нередко слышал, как Александр и Константин с удовольствием замечали: *это по-нашему, по-гатчински*, когда они рассказывали о своих служебных похождениях в этом особом мире, сильно походившем на карикатуру. «Императрица Екатерина, — рассказывает князь Адам, — с неудовольствием замечала сближение, установившееся между отцом и его двумя сыновьями, но не предвидела однако всех его последствий, ибо в таком случае она, вероятно, положила бы ему конец. Великий князь Александр сказал мне однажды, возвращаясь из Павловска: “Нам оказывают честь бояться нас”; этим желал он выразить, что Екатерина начинает беспокоиться сбором войск и учениями в Павловске и тем родом единомыслия, которое установилось между отцом и его сыновьями. Александр был польщен, что они возбудили некоторое опасение со стороны императрицы, но я сомневаюсь, чтобы оно действительно имело место; если подобное беспокойство и возникло в уме Екатерины, то оно было весьма слабым и скоро исчезло. Екатерина прекрасно знала недостаток личной храбрости, свойственный ее сыну, смешную сторону его войск, нерасположение, которым они пользовались со стороны публики и среди армии, чтобы сделать им честь бояться их. Поэтому она спокойно спала под охраною одной роты гренадер, в то время как Павел маневрировал со своей маленькой армией в нескольких верстах расстояния».

В заключение описания своих сношений с Александром, летом 1796 года, Чарторижский пишет, что неодобрение, с которым великий князь смотрел на политику своей бабки, располагало его уклоняться

от исполнения ее воли, когда это представлялось возможным. Он всегда находил что-нибудь возражать и, когда ему приходилось принимать малейшее участие в действиях правительства, которое не приходилось ему тогда по вкусу, он не проявлял ни усердия, ни доброй воли, но выказывал лишь неудовольствие и равнодушие. Великий князь Константин, который не разделял либеральных идей своего брата, сходил с ним в оценке нравов и характера императрицы Екатерины.

Принимая все вышесказанное во внимание, видно, как мало согласовались государственные воззрения Екатерины с идиллическими мечтаниями и гатчинскими увлечениями ее возлюбленного внука. Оказывается, что Александр не только не сочувствовал политической системе своей бабки, но относился к ней отрицательно и даже враждебно и, следовательно, совершенно не оценил и не понял необыкновенного гения этой государыни. Мало того, оказывается, что в Александре отсутствовали даже личные чувства расположения и привязанности к императрице, которая между тем считала его ангелом в человеческом образе и питала к нему безграничную любовь. Вся эта печальная обстановка, семейная и политическая, была, конечно, вызвана гатчинскими внушениями, которые окончательно восторжествовали и отразились самым пагубным образом на Александре, благодаря его политической незрелости.

Вот к какому трагическому исходу привели все просвещенные попечения, вся безграничная любовь и заботливость Екатерины о своем внуке, которого она готовила себе в преемники, — к полному крушению всех ее надежд: Александр отказался быть продолжателем ее великих дел и во многом стал на точку зрения цесаревича Павла Петровича. Результат получился совершенно обратный тому, которого можно было ожидать; но счастливый рок избавил Екатерину от печальной необходимости убедиться в этом и испытать на закате дней ни с чем несравнимые разочарование и огорчение.

<...> мрачные предчувствия овладели ее умом, вследствие чего все мысли Екатерины снова обратились к ускорению решения возбужденного ею вопроса относительно изменения порядка престолонаследия. Оправившись несколько от испытанных ею тревоги и огорчения, Екатерина имела 16 сентября разговор с великим князем Александром, в котором она выяснила внуку всю государственную необходимость задуманного ею переворота. Спрашивается, каким образом отнесся юный великий князь к сообщениям своей бабки? На это дает ответ письмо Александра Павловича к императрице от 24 сентября 1796 года, уцелевшее в бумагах князя Зубова, который, конечно, был посвящен в тайны этого дела. Вот точный перевод этого любопытного исторического документа: «Ваше императорское величество! Я никогда не буду

в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым ваше величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что ваше величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам вашего императорского величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью. Вашего императорского величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук Александр».

Несмотря на ясно выраженное в этом письме одобрение предложений, заявленных императрицею, позволительно, однако, сомневаться в искренности согласия, высказанного здесь Александром. Со стороны великого князя это был, по-видимому, только политический маневр, с целью выиграть время, чтобы не огорчить императрицу выяснением истинных своих чувств, в то время когда здоровье государыни подверглось сильному потрясению и дни ее были уже, так сказать, сочтены. В этом деле Александр проявил лишь обычную свою уклончивость, которую Екатерина подметила в нем уже с детства. Невольно снова припоминаются при этом случае наблюдения, сообщенные ею Гримму еще в 1790 году: «Если я заговорю с ним о чем-нибудь дельном, он весь внимание, слушает и отвечает с одинаким удовольствием; заставлю я его играть в жмурки, он и на это готов». «Одним словом, — говорит Екатерина, — мальчик этот соединяет в себе множество противоположностей». Последнее качество Александра суждено было испытать самой Екатерине как раз в деле особенно дорогом ее сердцу, хотя, впрочем, она нисколько не подозревала существования того противодействия, которое готовила ее намерениям уклончивость любимого внука. Напротив того, она говорила, как пишет В. С. Попов⁶: «Я оставляю России дар бесценный — Россия будет счастлива под Александром».

Между тем убеждения Александра готовили России совершенно иную будущность, отстранить которую занимало все помыслы Екатерины. С одной стороны, Александр твердо решил сохранить за отцом право наследства, а с другой — он жаждал только мира и спокойствия, желая для себя лишь избавления от предназначенного ему высокого положения, одна мысль о коем, как он выражался, приводила его в содрогание. В результате стремления Александра

ко всем этим несовместимым желаниям наложили обычную печать двойственности, неискренности на его действия и в деле престолонаследия. Не удивительно поэтому, что среди этих необычайных обстоятельств проявились в полном блеске знакомые уже нам черты его характера, которые, благодаря стечению роковых случайностей, получили преобладающее значение в его последующей жизни и привели одного из историков его времени к заключению, что Александр мог быть одновременно великодушным, мечтательным и двоедушным.

При таких взглядах, какими руководствовался Александр в эту эпоху, конечно, нельзя было быть участником в государственном перевороте. Но тем не менее нельзя однако отрицать, что, если Провидение продлило бы жизнь Екатерины, то, может быть, намерения императрицы относительно отстранения цесаревича от престола все-таки осуществились бы на деле. Подобное предположение можно основывать на примере, взятом из позднейшего времени. Вероятно, в таком случае разыгралось бы нечто сходное с положением, занятым Александром по отношению к затруднениям, встреченным им впоследствии на жизненном поприще, когда на сделанные ему тогда по поводу особых обстоятельств заявления он отвечал сначала молчанием, вздохами, а кончил тем, что вынужден был условно на все согласиться. Поэтому и в 1796 году обстоятельства могли поставить Александра именно в трагическое положение быть вынужденным действовать в смысле заявления, сделанного императрице в письме от 24 сентября. В то время когда Екатерина вступила в непосредственные переговоры с Александром по делу о престолонаследии, от нее осталось однако скрытым, что, к довершению всех бедствий, эти переговоры совпали со сближением великого князя с отцом. Это сближение побудило даже Павла Петровича и Марию Феодоровну благодарить Протасова, что он «возвратил им сына». Принимая во внимание это обстоятельство, можно даже предположить на основании некоторых данных, что Александр простер несочувствие к предположениям Екатерины до того, что сообщил цесаревичу разговор с императрицей и, может быть, с ведома отца написал ей письмо от 24 сентября. Но этого еще мало; для успокоения подозрительности цесаревича Александр признал его императором еще при жизни Екатерины. Существует письмо великого князя Александра Павловича к Алексею Андреевичу Аракчееву от 23 сентября 1796 года, касающееся служебных дел гатчинских войск, но замечательное тем, что Александр именуется в нем цесаревича «Его Императорским Величеством». Это письмо представляет еще в том отношении замечательное явление, что оно помечено 23 сентября и, следовательно, написано накануне вышеприведенного письма великого князя к императрице Екатерине,

врученного ей после решительной беседы 16 сентября. Справедливо замечено, что историку придется отгадывать и восстанавливать, в особенности отгадывать. В данном случае нельзя иначе доискаться истины. Поэтому, зная характер цесаревича и свойственный ему образ действий, можно предположить, что Павел Петрович, не довольствуясь признанием своих прав со стороны сына, привел его к присяге себе как законному императору, свидетелем же этой присяги был Аракчеев. Вот исходная точка необъяснимой дружбы, связавшей на всю жизнь Александра с гатчинским капралом. Невозможного в этом предположении ничего нет; в 1801 году случилось же нечто подобное, когда утром 11-го марта генерал-прокурор Оболянинов водил великих князей Александра и Константина в церковь Михайловского замка для присяги в верности, — явление, вполне подходящее к сделанному выше предположению. Тогда свидетелем присяги был Оболянинов, а в 1796 году любимец и доверенный исполнитель велений цесаревича Алексей Андреевич Аракчеев.

Но как бы то ни было, одно только достоверно, что Александр не почувствовал планам Екатерины и что мечты, занимавшие в то время ум великого князя, увлекали его совершенно на другой путь, чем тот, который предназначала и готовила державная бабка своему любимцу. Одно лицо слышало от него по этому поводу следующие достопамятные слова: «Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат». Трогательное излияние молодой и чистой души, замечает автор тех же записок, приводя слова Александра.

Остается сказать, что Александр был загадкой для современников и едва ли будет разгадан потомством; поэт же справедливо назвал его сфинксом, не разгаданным до гроба. Между тем Екатерина, уверенная в согласии внука на новый порядок престолонаследия, готовилась все-народно объявить свое решение. Тайна из Зимнего дворца давно уже проникла в общество, и нетрудно было отгадать, кого Екатерина желала видеть своим преемником. В Петербурге начали распространяться слухи, что 24 ноября, в день тезоименитства императрицы, а по другим известиям 1 января 1797 года, последуют важные перемены. Екатерина готовила манифест о назначении великого князя Александра Павловича наследником престола. Сохранилось предание, что бумаги по этому предмету были подписаны важнейшими государственными сановниками; называли: Безбородко, Суворова, Румянцева-Задунайского⁷, Зубова, митрополита Гавриила⁸ и других. Одновременно же с тем, вероятно, праздность Александра, на которую столь часто жалуется в своих записках Протасов, прекратилась бы навсегда; великому князю

предоставили бы, без сомнения, определенный круг государственных занятий, к коим Екатерина признавала невозможным допустить Павла, вследствие его характера и политических воззрений.

Но Провидение рассудило иначе; благие намерения великой государыни, преследовавшей в этом деле одну цель — благо России, не были приведены в исполнение, и на империю обрушились страшные испытания. Что же касается великого князя Александра Павловича, то на этот раз милостивая судьба избавила его от необходимости выбирать между государственною пользою и сыновним чувством.

<...> Вечером в девятом часу цесаревич с великой княгиней Марией Феодоровной прибыли в Зимний дворец, наполненный людьми всякого звания, объятymi страхом и любопытством и ожидавшими с трепетом кончины Екатерины. У всех была дума на уме, как замечает современник и очевидец, что теперь настанет пора, когда и подышать свободно не удастся. Великие князья Александр и Константин встретили родителя в мундирах своих гатчинских батальонов. «Прием, ему сделанный, — пишет Ростопчин, — был уже в лице государя, а не наследника». Хотя Екатерина еще дышала, но уже чувствовалась близость новой злополучной эры!

Цесаревич тотчас посетил умиравшую императрицу. Камер-фурьерский журнал впадает по этому случаю в несвойственный ему лиризм, и мы читаем: «Очи высочайших особ видели наипоразительнейшее зрелище. Его императорское высочество свою мать нашел в страдании болезни, лишенную всех чувств. Кого сие не тронет? Сыновняя горячность и чувствительность не возмогла вынести сей болезненной скорби, возродила чувства темные сетования, их высочества пали пред лицом ее, лобызали руки! Трогательно сие поражало чувства у всех окружающих. Кто возможет объяснить горестное соболезнование его императорского высочества и ее императорского высочества грозящей потерей толь драгоценной для их особы». Поговорив несколько с медиками, цесаревич прошел с великой княгиней в угольный кабинет и туда призывал тех, с которыми желал разговаривать или кому имел передавать приказания. Их высочества всю ночь пробыли во внутренних покоях императрицы. Здесь же цесаревич принимал Аракчеева, прискакавшего, по его приказанию, вслед за ним из Гатчины. «Смотри, Алексей Андреевич, — сказал ему Павел, — служи мне верно, как и прежде». — Затем, призвав великого князя Александра Павловича и после лестного отзыва об Аракчеве, сложив их руки, прибавил: «Будьте друзьями и помогайте мне». — Александр, видя воротник Аракчеева забрызганным грязным снегом от скорой езды и узнав, что он выехал из Гатчины в одном мундире, не имея с собою никаких вещей, повел его к себе и дал ему собственную рубашку. Начиная

с этого рокового часа, грубая и тусклая фигура Аракчеева делается историческим лицом и навсегда заслоняет собою светлую личность Александра.

Вероятно, вскоре после приезда цесаревича, при посредстве графа Безбородко, посвященного Екатериною в дело об отстранении Павла Петровича от престола, все таинственные бумаги, касавшиеся этого переворота, перешли в руки наследника. По некоторым известиям, князь Зубов играл также роль при передаче этих бумаг цесаревичу, указав место, где они хранились. Во всяком случае вполне достоверно, что еще при жизни Екатерины цесаревич приказал собрать и запечатать бумаги, находившиеся в кабинете, и, как отмечено в камер-фурьерском журнале: *«сам начав собирать оные прежде всех»*.

Между тем крепкий организм Екатерины продолжал еще бороться со смертью; замечались еще признаки жизни, но ежеминутно ожидали ее кончины. «Болезнь ее величества не оставляла нисколько, — повествует камер-фурьерский журнал, — страдание продолжалось без перерыва, воздыхание утробы, хрипение, по временам извержение из гортани темной мокроты, не открывая очей печали, почти вне чувств, что рождало во всех уныние. — По притечении времени полудня до пяти часов болезнь ее величества не уменьшалась ни мало, сие предвещало близкую кончину, почему преосвященным Гавриилом митрополитом отправлено Всевышнему богомолитие и канон при исходе души. Но кто минует неизбежность смерти, по сей непременно и наша благочестивейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская, быв объята страданием вышеписанной болезни, чрез продолжение 36 часов без всякой перемены, имея от рождения 67 лет 6 месяцев и 15 дней, наконец 6 (17) числа ноября в четверток, пополудни в три четверти десятого часа, к сетованию всей России, в сей временной жизни скончалась».

«Российское солнце погасло, — пишет А. С. Шишков в своих записках, — Екатерина Великая во гробе, душою в небесах! Павел Первый воцарился. Никто не ожидал сей внезапной перемены. Кроткое и славное Екатериныно царствование, тридцать четыре года продолжавшееся, так усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благому и бессмертному божеству порученное, никогда не кончится. Страшная весть о смерти ее, не предупрежденная никакою угрожающею опасностью, вдруг разнеслась и поразила сперва столицу, а потом и всю обширную Россию». Наступил краткий, но незабвенный по жестокости период четырехлетнего царствования императора Павла.

